

Константин Станюкович

Между своим

Константин Михайлович Станюкович
Между своими
Серия ««Морские рассказы»»

Zmiy

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165663

К.М.Станюкович. «Морские рассказы»: Юнацтва; Минск; 1981

Содержание

I	4
II	11
III	15
IV	21
V	25
VI	27

Константин Михайлович Станюкович МЕЖДУ СВОИМИ

I

Вскоре после выхода корвета в кругосветное плавание, или, как говорят матросы, в дальнюю, Иван Артемьев, совсем молодой, цветущего здоровья матрос, краснощекий красивый брюнет, лихой брамсельный и загребной на капитанском вельботе, простудился поздней ненастной осенью и серьезно занемог, схватив воспаление легких.

Болезнь затянулась. Молодой матрос видимо таял. Когда, месяц спустя, корвет зашел на несколько дней в Брест, судовой врач, молодой человек, лет пять как окончивший курс в московском университете, снова долго и внимательно выслушивал и выстукивал еще недавно богатырскую, а теперь исхудалую, с резко выступающими ребрами, смуглую грудь Артемьева и, отправившись к капитану, доложил ему, что Артемьева следовало бы списать с корвета и оставить в Бресте, в морском госпитале.

– Разве он так плох, доктор?

– Очень плох... Скоротечная форма чахотки.

– Нет надежды спасти его?

– По моему мнению, никакой! – не без задорного апломба, присущего очень молодым врачам, отвечал доктор и принял еще более серьезный вид.

– Жаль отправлять беднягу умирать к чужим людям... Ну, да что делать! Все-таки на берегу ему будет лучше, чем у нас в лазарете. Ведь у нас в лазарете для больных скверно, а?

– Для серьезно больных нехорошо. Каюта маленькая. Воздуха мало. Удобств никаких...

– Так, так... Вы говорили об этом Артемьеву?

– Нет еще. Сегодня скажу, а завтра, если разрешите, сам свезу в госпиталь и сдам французским врачам.

Через час после этого разговора доктор, несколько взволнованный, но старавшийся скрыть это волнение, вошел в лазарет – небольшую, сиявшую чистотой каюту, помешавшуюся на кубрике. Несмотря на пропущенный в двери виндзейль, в низенькой каюте отдавало сырым спертым воздухом и сильно пахло лекарствами. В ней было четыре койки, по две у каждой переборки, расположенные в виде нар, одна над другой. Три были пусты, а в четвертой, внизу, головою к борту судна, лежал единственный больной на корвете, матрос 1-й статьи Иван Артемьев.

Он лежал с широко раскрытыми большими блестящими черными глазами, серьезными, с выражением какой-то сосредоточенной вдумчивости, какая часто бывает у безнадежно и долго больных. Его осунувшееся смуглое лицо с заостренным носом, словно прозрачными ноздрями, с удлинившимся подбородком, черневшим щетиной небритой бороды, с характерными горевшими пятнами на впалых щеках, с выдавшимися скулами и сухими воспаленными губами – его лицо было спокойно, красиво и мертвенно-бледно. Сразу чувствовалось, что смерть уже сторожит это еще недавно крепкое, здоровое тело.

При входе доктора не в урочное время Артемьев приподнял с подушки голову с мокрыми у висков волосами, снова опустил ее и, перебирая край байкового белого одеяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными, с выросшими желтыми ногтями, вопрошительно, испуганно и подозрительно повел взглядом на вошедшего.

– Ну что, братец, все знобит? – искусственно развязным и небрежным тоном проговорил врач, полагая, что он таким образом подбадривает больного, и в то же время чувствуя какую-то неловкость перед испуганным взглядом матроса.

– Знобит, ваше благородие! А то всем, кажется, здоров. Нутренне ничего не болит, ваше благородие! – с

живостью отвечал Артемьев.

И, все еще глядя на врача с подозрительной пытливостью, торопливо прибавил:

– Вот если бы от этого самого ознобу ослобониться, и опять вошел бы в силу, ваше благородие... Озноб только... не пускает.

Глухой его голос звучал надеждой. Он, видимо, употреблял усилия, чтобы казаться при докторе бодрым и не столь слабым, точно в нем бродили какие-то смутные подозрения насчет недобрых намерений доктора и больной хотел обмануть его.

Доктор, добродушный и мягкий москвич, еще не закаленный своей профессией настолько, чтобы равнодушно смотреть на людские страдания, опустив голову, чтобы скрыть невольное смущение, почему-то откашлялся и, избегая смотреть в эти пытливые черные глаза больного, проговорил все тем же искусственно небрежным тоном:

– В том-то и дело, братец, чтобы озноба не было... И ты, конечно, поправишься... Об этом нечего и говорить... Я не сомневаюсь...

Он на мгновение остановился, поднял голову и встретил радостный, уверенный взгляд больного.

И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этом взгляде, продолжал еще веселее и увереннее:

– Поправишься, конечно... Опять молодцом станешь, но только для этого тебе надо на берег... А на корвете, брат, плохая поправка. Понимаешь?

– Куда же это на берег? – испуганно и жалобно прошептал больной, словно бы в недоумении.

– А здесь в Брест, в госпиталь... Там отлично... Там живо поправка пойдет... А как поправишься, тебя оттуда в Кронштадт отправят, а из Кронштадта в деревню пойдешь, к себе домой... Я тебе и бумагу такую дам.

Выходило как будто очень хорошо. Но с первых же слов доктора в глазах и в лице молодого матроса появилось выражение такого страха, отчаяния и скорби, что доктор окончил свою речь далеко не с той развязной веселостью, с какой начал.

На мгновение больной замер, словно пораженный. Но вслед за тем он проговорил с отчаянной мольбой:

– Ваше благородие! Отец родной! Не отсылайте меня с конверта. Дозвольте остаться. Явите божескую милость!

Доктор стал его уговаривать: на берегу он скоро выздоровеет, а здесь болезнь может затянуться...

– Ваше благородие! Будьте добры... Уж ежели бог не пошлет мне поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой стороне!

От волнения он закашлялся. Из груди его вырывался зловеющий глухой шум и что-то внутри клокотало. Его чудные большие глаза глядели на доктора с такой мольбой, что молодой доктор, видимо, колебался.

– Но послушай, Артемьев... ведь там тебе было бы лучше!.. – снова начал он.

– На чужой-то стороне лучше? Да я там с тоски, ваше благородие, помру. Здесь – свои ребята. Пожалеют, по крайности. Слово есть с кем перемолвить... а там?.. Не погубите, ваше благородие! Дозвольте остаться. Я скоро поправлюсь, вот только в теплые места придем, и опять буду исправным матросом, ваше благородие! – молил матрос, словно бы оправдываясь и за свою болезнь и за то, что не может быть исправным, лихим матросом.

Взволнованный этим отчаянием, доктор почувствовал жестокость своего решения и ласково проговорил:

– Ну, ну, не волнуйся, брат... Уж если ты так не хочешь, оставайся!

Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и он с чувством произнес:

– Век не забуду, ваше благородие!

Снова доктор пошел в капитанскую каюту и, рассказав капитану об отчаянии молодого матроса, просил теперь разрешения оставить его на корвете.

Капитан охотно согласился и заметил:

– Вот скоро в тропиках будем... Воздух чудный... быть может, Артемьеву и лучше будет. Как вы думаете, доктор?

– К сожалению, ничто не спасет беднягу. Дни его сочтены! – с уверенностью отвечал молодой врач и даже несколько обиделся, что капитан как будто не вполне доверяет его авторитету.

– А какой славный матрос был! – пожалел капитан.

II

Когда на баке – этом матросском клубе, где обсуждаются все явления судовой жизни, – узнали, что Артемьева хотели отправить во французский госпиталь и что затем оставили на корвете, – все матросы искренне порадовались за товарища.

Со всех сторон сыпались замечания:

– Уж коли помирать, так, по крайности, между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!

– Это что и говорить... Лучше прямо в море бросить!

– Тут хоть призор есть, а там пойми, что он лопочет!

– И без попа... Так без отпущения и отдашь душу...

– Ишь ведь, что было выдумал дохтур! К французам! А еще добрый!

– Добер, а поди ж...

– Молод очень! Дохтур, а того невдомек, что матросу никак не годится умирать в чужих людях. Может, господам все равно, а российский матрос на это охоткой не согласится, – авторитетно решил старый унтер-офицер Архипов, раскуривая у кадки с водой, вокруг которой собрался кружок, свою трубчонку, набитую махоркой.

И, раскурив ее, категорически и властно прибавил:

– То-то оно и есть. И умен и учен, а разуму мало. Нажить его, братец ты мой, надо. А то: к французам! И выходит, что дохтур сам вроде как быдто француз.

Все на минутку примолкли, точно нашедши разгадку поведения доктора. Приговор такого авторитетного человека, как унтер-офицер Архипов, очень уважаемого матросами за справедливость, был, некоторым образом, разрешающим аккордом.

И с этой минуты наш милый судовой врач пошел у матросов под шуточной кличкой «француза».

– А что, милай человек, господин фершал, Игнат Степаныч! Разве Ванька Артемьев того... помрет?

С такими словами обратился к подошедшему фельдшеру немолодой коренастый чернявый матрос с добродушной физиономией, сизый нос которого свидетельствовал о главном недостатке Рябкина, известного весельчака, балагура и сказочника, бесшабашного марсового, ходившего на штык-болт, и отчаянного забулдыги и пьяницы, пропивавшего, когда попадал на берег, не только деньги, но и все собственные вещи.

Фельдшер, мужчина лет около сорока, с рыже-огненными волосами, весь в веснушках, рябой и некрасивый, но считавший себя неотразимым донжуаном для кронштадтских горничных, сделал серьезную мину, перенятую им от докторов, заложил палец за борт

своего сюртука и не без апломба ответил:

– Туберкулез... Ничего с ним, братец, не поделаешь.

– Чихотка, значит?

– Пневмония – одна форма, туберкулезис – другая. Тебе, впрочем, братец, этой мудрости не понять – не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистом быть!.. – продолжал фельдшер, любивший-таки огорошивать матросов разными подобными словечками. – Могу тебе только сказать, что бедному Артемьеву не долго жить.

– Ну? – испуганно воскликнул Рябкин.

– То-то ну! С туберкулезом не шути, братец ты мой. Он и лошадь обрабатает, а не то что человека.

– Ах, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный! – промолвил Рябкин, и обычная веселая улыбка сбежала с его лица.

И все, кто тут был, пожалели Артемьева.

– Рано, любезный, хоронишь! – строго и внушительно обратился старый унтер-офицер к фельдшеру. – Бог-то, может, не послушает вас с дохтуром, а вызовет человека.

– Да я-то что? По мне, живи на здоровье. Тут не я, а наука!

– Наука! – презрительно протянул Архипов. – Господь и науку обернет, ежели на то его воля...

И Архипов, сунув трубку в карман, не спеша вышел из круга.

Фельдшер только безнадежно пожал плечами: дескать, нечего с вами разговаривать!



Недели через две корвет уже плыл в тропиках, направляясь к югу. Погода стояла восхитительная. На небе ни облачка. Тропическая жара умерялась ровным, вечно дующим в одном направлении, мягким пассатом и свежей влагой океана.

И корвет шел да шел узлов по семи, по восьми, имея на себе всю парусину. Недаром же моряки зовут плавание в тропиках, с пассатом, дачным плаванием. В самом деле, спокойное, благодатное плавание! Не надо и брасом шевелить, то есть менять положение парусов. И для матросов – это пора самой спокойной морской жизни. Стоят они на вахте не повахтенно, а по отделениям, и вахты самые приятные. Не приходится ждать бурь и непогод, бежать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусов, – словом, не приходится быть постоянно начеку. На этих вахтах почти никакой работы. И матросы коротают их, лясничая между собою, вспоминая в тропиках родную сторону, развлекаясь иногда зрелищем китов, пускающих фонтаны, любуясь блестящими на солнце летучими рыбками, маленькими, далеко залетающими от берега петрелями, громадными белоснежными альбатросами и высоко реющими в прозрачном воздухе фре-

гатами. А в эти дивные тропические ночи с мириадами мигающих звезд – ночи, когда вся команда спит на палубе, – вахтенные, примостившись кучками, коротают время еще более интимными воспоминаниями или сказками, которые рассказывает кто-нибудь из умелых сказочников, к удовольствию слушателей.

Вахтенный, молодой офицер, весь в белом легком костюме, ходит взад и вперед по мостику, поглядывает вперед, нет ли где огоньков идущего судна, вдыхает полной грудью прохладный воздух ночи, невольно мечтает, предаваясь воспоминаниям, и, усталый от долгой ходьбы, прислоняется к поручням, дремлет с открытыми глазами, как умеют дремать моряки, и снова начинает ходить, вновь вспоминая, быть может, кого-нибудь из близких, находящихся далеко-далеко, или пару милых глаз, кажущихся среди океана еще милее, или маленькую руку с тонкими длинными пальцами, с голубыми жилками, просвечивающими сквозь нежную белизну кожи, – руку, которую еще недавно он украдкой целовал в Кронштадте... В эти ласкающие ночи моряки, давно не бывшие на берегу, становятся несколько сентиментальны.

А корвет, плавно покачиваясь, идет себе вперед во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан с тихим гулом искрящейся брызгами воды, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фос-

форическим светом.

Иногда только эта безмолвная прелесть плавания в тропиках нарушается набегаящими шквалами с проливным дождем. Приближение такого шквала внимательно сторожится зорким глазом вахтенного офицера. Посматривая в бинокль, он вдруг замечает на далеком только что чистом горизонте маленькое серое пятно. Оно становится все больше и больше и быстро вырастает в темную грозовую тучу, соединенную с океаном серым косым дождевым столбом, освещенным лучами солнца. И эта туча и этот серый широкий столб стремительно несется к корвету. Солнце скрылось. Вода почернела. В воздухе душно. Туча все ближе и ближе... Корвет уже готов к встрече внезапного гостя: брамсели убраны; марсели, фок и грот взяты на гитовы... Шквал налетел, охватил со всех сторон судно серой мглой, накренил корвет, понес его на минуту со страшной быстротой, облил всех ливнем крупного тропического дождя, помчался далее, – и через минуту-другую и туча и дождевой столб становятся все меньше и меньше и кажутся на противоположном горизонте крошечным серым пятнышком.

И снова высокое голубое небо с веселой лаской смотрит сверху. Воздух полон чудной свежести. Снова корвет поставил все паруса, и тот же мягкий ровный пассатный ветерок несет его. Матросские рубахи уже

просохли, только в снастях еще блестят капли; и снова поставленный тент защищает головы моряков от ослепительных лучей тропического солнца.

Артемьеву, казалось, стало лучше. Лихорадка мучила его с более долгими промежутками, он чувствовал себя бодрей, с аппетитом ел кушанье с кают-компанейского стола и пил по две рюмки мадеры в день. По распоряжению доктора, больного с утра выводили наверх, и он проводил там целые дни, лежа большею частью в койке, подвешенной у шкафута – на средней части судна, смотрел на обычную утреннюю чистку, на обычные предобеденные работы и учения, слушал хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеров, перекидывался словами с подходившими к нему матросами, – и все это его занимало, приобретая в его глазах какую-то прелесть новизны. Иногда он подолгу глядел своими большими серьезными глазами и на безбрежный сверкавший на солнце океан и на бирюзовую высь неба – глядел и задумывался, словно пытаясь разрешить какую-то загадку, неожиданно возникшую для него после долгого созерцания природы и каких-то новых, странных дум, являвшихся во время долгой болезни.

По временам мысли его витали в воспоминаниях о далекой бедной деревушке с черными избами, о мужичьей жизни, об этом темном лесе, куда он с отцом

часто ездил по ночам рубить «божий лес», который почему-то считали казенным, – и тогда скорбное чувство подкрадывалось к сердцу. Он жалел своих, скорбел о тяжелой мужичьей доле; спрашивал себя, отчего бог не ко всем милостив, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать ответ...

Его часто охватывала дремота: он забывался на короткие промежутки, и ему снились сны. В этих сновидениях Артемьев был по-прежнему сильный, здоровый, ретивый матрос, летавший духом на марс, крепивший брамсель или наваливавшийся изо всех сил на весло, когда приходилось на щегольском вельботе отвозить капитана...

И, внезапно просыпаясь, он с грустью чувствовал свою беспомощность и часто с горечью смотрел на свои исхудалые руки, ощупывал свои выдававшиеся ребра, винил доктора за то, что не входит в силу, и каждое утро с трогательной простотой молил бога, чтобы господь послал ему поправку.

Но и в теплых местах поправка не приходила, и больной становился все более нетерпеливым и раздражительным. Но о смерти он не думал, надеясь, что озноб отпустит, наконец, и он опять войдет в силу.

Его только удивляло особое внимание, какое ему теперь оказывали. К нему подходили офицеры и капитан и говорили добрые, обнадеживающие слова.

Сам ругатель-боцман, прежде изредка «смазывавший» Артемьева по уху и часто ругавший его, теперь, напротив, нет-нет да и заглянет к нему в койку. И грубый, сиплый голос боцмана звучит непривычной для уха молодого матроса нежностью, хотя боцман как-то сердито хмурит брови, глядя на исхудалое лицо больного. Он скажет два-три слова и, уходя, прибавит:

– Ну, брат, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Бог милостив... Поправишься.

И все – он это чувствовал – как-то особенно отнеслись к нему.

«За что?» – иногда думал он, растроганный таким непривычным вниманием.

И вскоре бедняга узнал «за что», услышав неосторожный разговор двух матросов о том, что ему, по словам доктора, жить осталось уж немного: «Слава богу, коли ден десять протянет!»

Он обомлел и как-то вдруг весь почувствовал, что это правда и что он не жилец на белом свете.

И скорбные, жгучие слезы тихо скатились с его славных глаз.

IV

Ах, какие тяжелые были эти бесконечные, длинные последние ночи в маленькой душной каюте! Сна почти не было. Больной изредка забывался, и снова приходил в себя, и лежал неподвижно, с открытыми глазами, в полутемной каюте, освещенной слабым светом фонаря. Кругом тишина. Слышно лишь бульканье воды у борта да легонькое поскрипывание корвета.

Тоска! Щемящая, безнадежная тоска!

Но забулдыга и пьяница Рябкин не забывал больного в его ночном одиночестве. Каждую ночь, перед вахтой или сменившись с вахты, Рябкин, лишая себя сна, осторожно входил в лазарет, присаживался на пол у койки Артемьева, успокаивал его, старался подбодрить и начинал рассказывать ему свои бесконечные сказки.

Он их рассказывал увлекательно, мастерски, с различными, им самим сочиненными вариантами, и деликатно изменял конец сказки, если он был печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.

И молодой матрос, несколько успокоенный, слушал их и иногда дремал, убаюканный этим тихим, ритмическим кадансом сказочной речи.

Случалось, Артемьев неожиданно прерывал рассказчика и спрашивал:

– Послушай, Рябкин, что я хочу спросить...

– Что, Ваня?

– Как ты думаешь, как будет – на том свете? Тяжело душе или нет?

Рябкин, никогда в жизни не думавший о таких деликатных предметах, на секунду задумывался, но со свойственной ему находчивостью быстро и уверенно отвечал:

– Надо, братец ты мой, полагать, что душе нашего брата будет хорошо... Господским душам будет хуже... это верно... потому им на этом свете очень даже вольготно... Ну, значит, и вали-валом, голубчики, в ад... Сделайте ваше одолжение... Пожалуйте!.. Однако и из нашего звания тоже, я думаю, не всякий в рай... Мне, примерно, голубчик мой, давно в пекле пак готов за то, что я жру это самое винище. Небось, заставят растопленную медь глотать... А силушки нет, милый человек, бросить эту самую водку!.. Вот оно как будет на том свете! – заключил Рябкин, вполне уверенный, казалось, в правильности своих внезапных соображений насчет «того света».

Несколько секунд длилось молчание.

И молодой матрос вновь заговорил:

– Также иной раз думается: вот умер человек, а что

там?

– Да брось ты глупые мысли. Вот тоже!.. Еще, брат, мы с тобой и на этом свете проживем. А как, братец ты мой, вечер боцман Ваську Скобликова звезданул! В кровь! В самую, значит, носовую часть! – круто переменял Рябкин разговор, желая отвлечь внимание от грустных предметов.

Но Артемьев молчал, оставаясь равнодушен к этому сообщению. Его, казалось, уже не занимали все эти прежде интересовавшие его вещи. Все это представлялось теперь ему каким-то далеким прошлым.

– У вас на фор-брамсели вот тоже... Михайлов брам-горденя не отдал. Ну и костил же его, брат, старший офицер сегодня! Однако всего раз съездил.

Но вместо ответа Артемьев вдруг сказал:

– Не хочца помирать, голубчик, а надо. Так, видно, богу угодно, чтобы меня бросили в океан! – прибавил он с тоской.

– Ведь вот глупый! С чего ты зря мелешь? Да нешто я не понимаю матросского здоровья? Отлично, братец, понимаю: слава богу, двенадцать лет в матросах околачиваюсь... Тоже вот у нас на «Копчике» молодой матросик был и занемог, как ты. Так около году провалялся у нас на клипере, а после в такую поправку пошел, что страсть.

Но эти слова, по-видимому, мало утешали Арте-

мьева. Рябкин это чувствовал и «снова начинал сказку.

– Ты бы спать шел, Рябкин.

– Спать? Да быдто неохота спать... Ужо утром высплюсь!

– Ишь ты, сердешный... Жалеешь... Добер... Бог тебе и вино простит!

V

Корвет подходил к экватору. Артемьев доживал последние дни. Однажды, рано утром, он попросил к себе в лазарет гардемарина Юшкова, который учил прежде Артемьева грамоте, часто разговаривал с ним, писал от него письма к родителям, и был очень расположен к молодому матросу.

– Простите, барин, что обеспокоил... Исполните последнюю просьбу – напишите домой грамотку... Да вот вещи какие после меня останутся, так чтобы ото-слать, как вернетесь в Расею...

Гардемарин стал было успокаивать его, но матрос остановил его:

– Полно, голубчик барин! Я знаю, что умру.

И он передал завернутые в тряпочку два золотых и, указывая на байковый платок, две рубахи, башмаки, вязаный шарф и еще кое-какие вещи, собранные на лазаретном столе, просил все это послать отцу с матерью.

– И отпишите им, барин, что я так и так... помер, и что завсегда был покорным их сыном, и буду на том свете молиться за них и за всех хрестьян... И сестрицам, и братцам, и всей деревне нижайший поклон... Напишите, барин?

– Напишу! – отвечал гардемарин, глотая слезы.

– А другую грамотку отпишите, барин, в Кронштадт, Авдотье Матвеевне Николаевой... А как вернетесь, – отдайте ей вот эти гостинцы.

И он указал глазами на шелковый красный платок и маленькое колечко с поддельным камнем, купленное им в Копенгагене.

– Адрец тут же лежит, на платочке... Маменька ихняя торгует на рынке... Так напишите ей, что она напрасно тогда не верила... Думала, что я так только... и все смеялась. Напишите ей, барин, что ежели я путался с другими, так от обидного моего сердца, а желанная была она одна. И напишите, что я шлю ей свой нижайший поклон, целую в сахарные ее уста и дай ей бог всякого благополучия. Напишете, барин?

– Напишу.

– А затем спасибо вам за все, добрый барин. Простимся!

Сдерживая рыдания, гардемарин, поцеловал матроса и выбежал из лазарета.

VI

В ту же ночь молодой матрос умер.

Труп его одели в полный матросский костюм и ранним утром вынесли наверх, на шканцы, и положили на доске, лежавшей на козлах. Перед обедом, в присутствии капитана, офицеров и всей команды, была отслужена священником панихида. И эта служба и это печальное пение отличного хора певчих здесь, среди безбрежного сверкавшего океана, так далеко-далеко от родины, производили невыносимо тоскливое впечатление.

После панихиды все подходили прощаться с усопшим. Флаг с утра был приспущен в знак того, что на судне покойник.

К вечеру труп зашили в парусинный мешок, плотно охватывавший мертвое тело, к ногам привязали ядро, и после отпевания и отдачи воинских почестей, при глубоком молчании команды, четыре матроса понесли усопшего на доске к борту корвета, наклонили доску, и труп молодого матроса с легким всплеском исчез в прозрачной синеве океана.

Все разошлись в суровом безмолвии. У некоторых на глазах блестели слезы. Рябкин плакал, как малый ребенок.

А справа величественно закатывалось солнце, заливая багровым блеском далекий горизонт.